**Исайя Берлин. История свободы. Россия**

Наследие английского либерального мыслителя Исайи Берлина (1909–1997) до сих пор оставалось практически неизвестным в России. Исайя Берлин родился в Риге, а в Питере провел самые страшные годы, с 1916-го по 1920-й. Философ оксфордской школы, Берлин совместил ясность британского либерализма с антиутопическими уроками русской истории. Его классические работы по политической теории и интеллектуальной истории объясняют XIX век и предсказывают XXI. Эта книга — второй том его сочинений (первый — «Философия свободы. Европа». М., «Новое литературное обозрение», 2001), рисующих масштабную картину русской мысли. История свободы в России для И.Берлина — история осмысления российскими интеллектуалами XIX–XX вв., жившими и творившими в условиях то большей, то меньшей несвободы. В книгу также включены воспоминания Берлина о его визите в СССР и встречах с А. Ахматовой и Б. Пастернаком.

Ссылку на книгу я нашел у Талеба в [Антихрупкости…](http://baguzin.ru/wp/?p=10507) (см. также [Что почитать по менеджменту](http://baguzin.ru/wp/?p=9369)).

Исайя Берлин. История свободы. Россия. – М.: Новое литературное обозрение, 2014. – 544 с.



**Рождение русской интеллигенции (1955)[[1]](#footnote-1)**

«Интеллигенция» — русское слово, оно придумано в XIX веке и обрело с тех пор общемировое значение. Сам же феномен со всеми его историческими, в полном смысле слова — революционными, последствиями, по- моему, представляет собой наиболее значительный и ни с чьим другим не сравнимый вклад России в социальную динамику.

Большинство историков России согласны в том, что начало глубочайшему социальному расколу между образованными слоями и «темным народом» в русской истории положил урон, нанесенный русскому обществу Петром Великим. В реформаторском пылу Петр отправил группку избранной молодежи на Запад, а когда те освоились с европейскими языками и различными новейшими искусствами и ремеслами, порожденными на свет научной революцией XVII столетия, призвал их назад, дабы поставить во главе того нового социального порядка, который в беспощадной и кровавой спешке навязал своей феодальной стране. Тем самым он создал замкнутый класс новых людей, наполовину русских, наполовину иностранцев, воспитанных за рубежом, хотя и русских по рождению. Они в свою очередь образовали замкнутую управленческую и чиновничью олигархию, стоящую над народом и не разделяющую с ним его прежнюю средневековую культуру, непоправимо от него отрезанную.

Все переменилось с вторжением Наполеона, в конце концов приведшего Россию в самое сердце Европы. В одно прекрасное утро Россия проснулась первым лицом на европейской сцене, сознавая свое грозное, подавляющее всех вокруг могущество и — не без ужаса и отвращения — воспринимаясь европейцами как величина не просто равная, но явно превосходящая их своей не знающей снисхождения силой.

Ситуацию России определяли три основных фактора. Во-первых, мертвая, гнетущая, лишенная воображения власть, занятая прежде всего удержанием своих подданных в подчинении и отвергающая всякие попытки перемен, поскольку они могут повести к дальнейшим сдвигам. Во-вторых, условия жизни широчайших масс российского населения — угнетенного, экономически обездоленного крестьянства. Между ними двумя — тонкая прослойка образованного меньшинства, глубоко и порой уязвленно проникшегося западными идеями и переживающего танталовы муки при поездках в Европу и лицезрении растущей социальной и умственной активности в центрах тамошней культуры.

Все, чем жила тогда мысль, как правило, завозилось из-за границы, и вряд ли хоть одна из ходовых в России XIX века политических или социальных идей родилась на отечественной почве. Может быть, лишь толстовский принцип непротивления злу.

Распространяясь на Западе, революционные идеи порой возбуждают публику, в иных случаях подталкивая к образованию партии или секты приверженцев. Но большинство аудитории не расценивает их как истину в последней инстанции, и даже признающие кардинальную важность той или иной идеи не бросаются сломя голову воплощать ее в жизнь любыми подручными средствами. Русские же подвержены именно этому. Они убеждают себя, что если посылки бесспорны и рассуждения верны, то бесспорны и следующие из них выводы; более того, если эти выводы диктуют неотложность и благотворность тех или иных действий, то прямой долг любого честного и серьезного человека — реализовать их по возможности скорее и полнее.

Представьте себе далее группу молодых людей под цепенящим игом николаевского режима, людей со страстью к идеям, равной которой не найти в европейском обществе, буквально бросающихся на любую занесенную с Запада мысль в невероятном воодушевлении и строящих планы по немедленному претворению ее в жизнь, — и вы хотя бы отчасти поймете, какой была интеллигенция в самом начале. Ее составляла крохотная группа, как профессионалов, так и любителей, понимающих, насколько они одиноки в безжалостном мире, где, с одной стороны, — жестокая власть самодуров, а с другой — абсолютно непросвещенная масса задавленных и неорганизованных крестьян и сознающих себя как бы авангардом разума, поднявшим всеобщее знамя ума и науки, свободы и лучшей жизни для всех.

Предложу два подхода к литературе и искусству. Французские писатели XIX века в общем и целом считали себя мастерами литературной выделки. Они исходили из того, что интеллектуалом или художником движет взятое перед собой и публикой обязательство делать то, что умеешь, по возможности лучше. Если работа хороша, ее признают, и автор достигает успеха. Если ему не хватило вкуса, умения или удачи, он успеха не достигает, вот и все. С этой «французской» точки зрения частная жизнь художника касается публики не больше, чем частная жизнь столяра.

«Русский» подход к литературе состоит в том, что человек един и разделен быть не может; нельзя даже предположить, будто он, с одной стороны, гражданин, а с другой работает за плату, и это вещи совершенно разные. Делать добро, служить истине и творить красоту — прямой долг человека. Моцарт и Гайдн, я думаю, немало бы подивились, узнав, что, как художники несут на себе особую печать святости. Они всегда и везде прежде всего оставались музыкантами, пишущими на заказ и стремящимися сделать свои творения как можно мелодичней.

Докажи кто-нибудь, что Бальзак шпионил в пользу французского правительства, а Стендаль был замешан в биржевых махинациях, это известие, вероятно, опечалило бы их друзей, но вряд ли бросило бы тень на статус и дар самих художников. А вот среди русских авторов, будь они уличены в занятиях такого рода, вряд ли хоть один усомнился бы в том, что подобный поступок перечеркивает всю его писательскую деятельность.

**Обязательства художника перед обществом (1996)**

Американский исследователь Руфус Мэтьюсон блестяще сформулировал в чем отличие позиции радикалов от взглядов либералов: радикал считает, что писатель — производное от свойственной этому писателю идеологии, а либерал воспринимает идеологию как производное от темперамента и индивидуальности писателя. Мэтьюсон справедливо предполагает, что доктрина обязательств перед обществом сковывает художественную деятельность уже тем, что препятствует созданию противоречивых, амбивалентных произведений. Он цитирует Чехова, сказавшего примерно так: дело художника — не предлагать решение, а правильно поставить вопрос перед читателем.

Утверждения Белинского, что «теперь искусство — не господин, а раб» или что «чистое искусство в наше время невозможно» отнюдь не равносильны утверждению, что художник — а, следовательно, и его творчество — обязательно уходит корнями в конкретные социальные обстоятельства, а оторвавшись от них, непременно увянет или деградирует до голой развлекательности.

Мучительные споры, бушевавшие в душе Белинского, сильно повлияли на его современников. Белинского за границей не читали; но великие русские прозаики, сформировавшиеся именно при нем, и более поздние проповедники социальных преобразований со временем оказали воздействие на западную мысль. Тут имело место явление, которое я назвал «эффектом бумеранга»;[[2]](#footnote-2) если его не учесть, история западной культуры будет неполной.

Я хотел бы подчеркнуть, что ни Белинский, ни кто-либо из его друзей ни разу не поддались искушению той привычной для нас идеи, будто искусство, и в особенности литература, не может состояться как искусство, если оно не выполняет прямую социальную функцию — не становится оружием в борьбе прогрессивной части человечества. Как близко ни подходил бы порой Белинский к этой мысли, требуя, чтобы искусство забыло приличествующие ему задачи и обслуживало посторонние потребности, он никогда не путал искусство с нравоучением и тем более с пропагандой в любой форме. В этом смысле Чернышевский и Добролюбов, Плеханов и советские толкователи, взявшие у Белинского только то, что им было нужно, исказили его образ.

Толстой своих противников берется судить на основе серьезности описываемых ими проблем, нравственной искренности и художественных способностей.

**Герцен и Бакунин о свободе личности (1955)**

Из всех русских революционных писателей XIX столетия больше всего привлекают внимание Герцен и Бакунин. Они очень различны и по сути своих учений, и по темпераменту, но едины в одном: идеал свободы личности стоит в центре их идей и действий.

Герцен создал, практически в одиночку, традицию и «идеологию» систематической революционной агитации и, таким образом, стал основателем революционного движения в России. Вклад Бакунина в русскую литературу не столь велик, но по личному обаянию он не знал себе равных даже в тот героический век народных трибунов. От него идет традиция политической конспирации, которая сыграла важнейшую роль во всех крупных переворотах ХХ века.

Герцен неистово восстал против гегельянства. Он отверг его основания и подверг сомнению его выводы не только потому, что оно казалось ему неприемлемым с точки зрения этики, но и потому, что он считал его интеллектуально недостоверным и эстетически безвкусным. С его точки зрения, это была попытка подогнать природу под убогие представления немецких филистеров и педантов.

Природа не подчиняется никакому плану, у истории нет заранее написанного сценария; нет такого единственного ключа или формулы, которые могут в принципе разрешить проблемы отдельных личностей или обществ; общие решения — это иллюзия, универсальные цели ничего общего не имеют с реальными, у каждой эпохи своя неповторимая структура и только ей присущие вопросы; свобода реальных личностей в определенный момент времени и в определенной точке пространства — это абсолютная ценность. Такой либеральный подход явно перекликается с традицией западного либертарианства, элементы которого сохранялись в Германии — у Канта, Вильгельма фон Гумбольдта, в ранних работах Шиллера и Фихте.

Подобно ранним либералам Западной Европы, Герцен восхищался независимостью, разнообразием и свободой игры индивидуального темперамента. Он желал максимально возможного расцвета личных качеств, ценил спонтанность, прямоту, оригинальность; а презирал конформизм, трусость, подчинение грубой силе и общественному мнению, ничем не оправданное насилие и трепетную послушность. Он ненавидел культ силы, слепое преклонение перед прошлым, перед институтами и мифами.

Так как абстрактные понятия — история, прогресс, благо народа, социальное равенство — оказались жертвенниками, обагренными невинной кровью, Герцен исследует их. Если у истории есть жестко определенное направление, некая рациональная структура и цель (возможно, благая), мы должны или смириться с ней, или погибнуть. Но какова эта цель? Герцен не может ее выделить; он не видит никакого смысла в истории.

Если история — это сказка, поведанная безумцем, то преступно оправдывать угнетение и жестокость, подчиняя тысячи людей весьма сомнительному авторитету во имя пустых абстракций — «требований» «истории» или «исторического предназначения», или «национальной безопасности», или «логики фактов». Абстракции, помимо их зловещих последствий, — это просто попытки не замечать фактов, которые не вписываются в заранее построенные схемы.

Все проходит, но, проходя, может вознаградить путника за его страдания. Гете поведал нам, что гарантий нет, надо довольствоваться настоящим; но нет, мы недовольны, мы отвергаем красоту и радость, потому что должны властвовать и над будущим. Так отвечает Герцен тем, кто, подобно социалистам и коммунистам, призывает к величайшим жертвам и страданиям ради цивилизации, или равенства, или справедливости, или гуманности если не в настоящем, так в будущем. Цель жизни — она сама, цель борьбы за свободу — свобода здесь и сейчас.

Герцен считает, что существующие партии достойны обличения не потому, что они не отвечают чаяниям большинства — оно, во всяком случае, предпочитает рабство свободе, а освобождение тех, кто внутренне так и остался рабами, всегда приводит к варварству и анархии.[[3]](#footnote-3)

Расхождение между Герценом и Бакуниным непреодолимо. Одни, подобно Герцену (или Миллю), ставят свободу личности в центр своего социального или политического учения, для них это святая святых, без нее лишается смысла вся остальная деятельность, наступательная или защитная; для других такая свобода — лишь побочный продукт социального переворота, единственной цели их деятельности.

Герцен замечал некоторую внутреннюю бесчеловечность Бакунина (о которой знали и Белинский, и Тургенев); понимал, что ненавидит рабство, угнетение, лицемерие, бедность, но в абстрактном смысле, без подлинного отвращения к конкретным случаям (истинно гегельянский подход!). Судьба отдельных людей мало его занимала, его принципы были слишком общими и слишком грандиозными: «Сначала разрушить, а там будет видно». Чего у Бакунина было в избытке, так это темперамента, остроты зрения, щедрости, отваги, революционного огня, природной силы духа. А права и свободы отдельных личностей почти не играли никакой роли в его апокалиптическом мировоззрении.

Позиция Герцена по этому вопросу очевидна, и она не изменялась на протяжении всей его жизни. Никакие отдаленные цели, никакие ссылки на высшие принципы или абстрактные понятия не могут оправдать подавление свободы, обман, насилие и тиранию. С подлинным ужасом и отвращением Герцен видел и обличал настойчивую и грубую бесчеловечность молодого поколения русских революционеров – бесстрашных, но жестоких, полных бешеного негодования, но враждебных цивилизации и свободе.

Бакунин посвятил всю свою жизнь борьбе за свободу. Он сражался за нее делом и словом. Больше, чем кто-либо другой в Европе, он отстаивал непрекращающийся бунт против всякой формы существующей власти, непрекращающийся протест во имя всех униженных и оскорбленных, независимо от нации и класса. Мысль Бакунина почти всегда проста, неглубока и очевидна; язык страстен, прям и неточен, он перетекает из одной банальности в другую. Из его работ, написанных на протяжении всей его жизни, нельзя извлечь никакой последовательной философской системы, ощущаются только живое воображение, неистовая поэзия и погоня за сильными ощущениями во что бы то ни стало.

**Отцы и дети: Тургенев и затруднения либералов (1972)**

По темпераменту Тургенев не был человеком, сосредоточенным на политике. Природа, человеческие отношения, оттенки чувства — вот что он понимал лучше всего и в жизни, и в искусстве. Сознательное использование искусства для чуждых ему целей — идеологических, дидактических или утилитарных, а особенно как оружие в классовой борьбе (именно этого требовали радикалы в 1860-х годах) — было ему отвратительно. То, что он писал, не так идейно и страстно, как у Достоевского после сибирской ссылки или у позднего Толстого. Более чувствительный и щепетильный, менее одержимый и нетерпимый, чем великие страдальцы-моралисты его времени, он не менее резко, чем они, реагировал на ужасы российского самодержавия.

Тургенев был по натуре осторожен, рассудителен, опасался любых крайностей, в критические минуты мог уклониться от действий. Общепринятый образ Тургенева как чистого художника, втянутого в политическую борьбу против своей воли, но остающегося полностью чуждым ей, раздираемого критиками справа и слева, обманчив. Его романы начиная с середины 1850-х годов глубоко проникнуты теми главными социальными и политическими вопросами, которые мучили тогда либералов. На его мировоззрение глубоко и постоянно влиял негодующий гуманизм Белинского.

Самый известный и самый интересный с политической точки зрения роман Тургенева – «Отцы и дети». Тургенев говорил, что герой романа Базаров в основном списан с одного русского доктора, которого он встретил в поезде. Но у Базарова есть и некоторые черты Белинского. Как и тот, он — сын бедного армейского доктора; у него есть присущая Белинскому грубость, прямота, нетерпимость, готовность взорваться в ответ на любое проявление лицемерия, напыщенности, консервативного (или двусмысленно либерального) ханжества.

Центральная тема романа — конфронтация старых и молодых, либералов и радикалов, традиционной цивилизации и нового грубого позитивизма, который не видит необходимости ни в чем, кроме того, что нужно разумному человеку.

Однажды кто-то сказал, что Базаров — первый большевик; хотя он даже не социалист, в этом есть доля истины. Он хочет радикальных перемен и не уклоняется от насилия. В конце концов Базаров, вопреки всем своим принципам, влюбляется в холодную, умную, знатную светскую красавицу, глубоко страдает и вскорости умирает от инфекции, которую он подхватил, вскрывая труп в деревенской больнице. Базаров пал, потому что его сломала судьба, а не потому, что ему не хватило ума или воли.

Катков в неподписанной рецензии в собственном журнале (где и появился роман) пишет: Базаров – не ученый. Базаров и его соратники-нигилисты просто проповедники; они осуждают фразы, риторику, напыщенный язык, чтобы заменить все это своей политической пропагандой; они предлагают не строгие научные факты, которые их не интересуют, которых они на самом деле и не знают, но лозунги, диатрибы, радикальный жаргон.

Тургенев страдал от глубинного ощущения, что он поставил себя в политически неверную позицию. Всю жизнь он хотел идти в ногу с прогрессивными людьми, с партией свободы и протеста, но не смог принять их жестокого презрения к искусству, цивилизованному поведению, всему, что для него было дорого в европейской культуре. Он ненавидел их догматизм, высокомерие, страсть к разрушению, ужасающее незнание жизни. Он уехал за границу, жил в Германии и Франции и возвращался в Россию только для мимолетных визитов.

Тургенев верил — это был его «старомодный» либерализм в «английском, династическом (он имел в виду конституционном] смысле» — что только образование, только постепенные методы, «промышленность, терпение, самопожертвование, без блеска, без шума, гомеопатические вливания науки и культуры» могут наладить человеческую жизнь.

**Еж и лиса. Эссе о взглядах Толстого на историю (1953)**

Среди фрагментов греческого поэта Архилоха есть строка, которая гласит: «Лис знает много секретов, а еж один, но самый главный». Если воспринимать эту фразу фигуративно, можно сделать явственным одно из глубочайших различий между людьми — между теми, кто все и вся соотносит с некой ключевой точкой зрения, с одной более или менее последовательной и ясно выраженной системой, исходя из которой воспринимает мир, мыслит и чувствует, с единым, универсальным, всеобъемлющим первопринципом, который, собственно, и придает смысл всему, что они говорят и делают, — и теми, кто способен одновременно заниматься многими предметами, зачастую не имеющими друг к другу никакого касательства, а то и вовсе противоположными.

Первый тип мыслящей и творческой личности — ежи, второй — лисы. Не настаивая на жесткой классификации и не слишком опасаясь впасть в противоречие, мы можем сказать, что в этом смысле Данте принадлежит к первой категории, Шекспир ко второй; Платон, Лукреций, Паскаль, Гегель, Достоевский, Ницше, Ибсен, Пруст — в какой-то степени ежи; а Геродот, Аристотель, Монтень, Эразм, Мольер, Гете, Пушкин, Бальзак и Джойс — лисы. Конечно, как и все элементарные классификации, данная дихотомия, если ее довести до логической точки, становится искусственной и в конце концов просто абсурдной.

Мысль о том, что всю русскую литературу можно означить двумя гигантскими фигурами — на одном полюсе Пушкин (лис), на другом Достоевский (ёж), — не так уж абсурдна. Сопоставление Гоголя, Тургенева, Чехова, Блока с Пушкиным и с Достоевским приводит к весьма плодотворным и ярким наблюдениям. Но значительно сложнее определиться с личностью Толстого. Трудность может состоять в том, что Толстой и сам в какой-то мере осознавал эту проблему и приложил максимум усилий к тому, чтобы сфальсифицировать ответ. Гипотеза, которую я хочу предложить, состоит в том, что по природе Толстой был лис, но искренне считал себя ежом. Но нигде конфликт между тем, что он из себя представлял, и тем, что о себе думал, не виден настолько отчетливо, как в его взглядах на историю, которым он посвятил многие из самых блестящих и самых парадоксальных страниц; подробнее см. [Свобода воли и необходимость](http://baguzin.ru/wp/?p=7775) (философское заключение, Война и мир, Лев Толстой).

Интерес к истории пробудился у Толстого достаточно рано. Возник он, кажется, не из интереса к прошлому, но из страстного желания добраться до первопричин, понять, как и в силу чего все складывается так, а не иначе, из недовольства теми общепринятыми объяснениями, которые в действительности ничего не объясняют и оставляют разум неудовлетворенным.

Представление о том, что историю можно (и должно) сделать научной дисциплиной, было общим местом в XIX веке, но таких, кто понимал «научный» как «естественно-научный», а затем задавался вопросом, как сделать историю наукой именно в этом смысле слова, было немного. Самым бескомпромиссным в этом отношении оказался Огюст Конт, который, вслед за своим учителем Сен-Симоном, пытался превратить историю в социологию. Быть может, серьезнее всех прочих мыслителей эту программу воспринял Карл Маркс и смело, хотя и не очень удачно, попытался открыть общие законы, управляющие ходом истории, основываясь на заманчивой по тем временам аналогии с биологией и анатомией, победно использованной Дарвином при создании эволюционных теорий.

Однако куда яснее Маркса и его последователей Толстой осознал фактическую неудачу предпринятой попытки, а затем окончательно решил исход дела, заметив, что осуществление данной мечты положило бы конец человеческой жизни в том виде, в котором мы до сих пор ее наблюдали: «Если допустить, что жизнь человеческая может управляться разумом, — то уничтожится возможность жизни (т.е. спонтанной деятельности, включающей сознание свободы воли)».

Как не согласиться с Толстым, с точки зрения которого существующие исторические системы представляют «возможно, не более 0,001 процента элементов, действительно составляющих настоящую историю народов»? История в ее привычном виде обычно представляет «политические» — то есть публичные — события как наиболее важные, в то время как духовные — «внутренние» — события по большей части остаются в тени; но, скорее всего, именно они, «внутренние» события, составляют самый реальный, самый непосредственный пласт настоящей жизни. Из них, и только из них, в сущности, она состоит; следовательно, авторы привычных трактатов по истории несут пустопорожнюю чушь.

Толстой выходит на один из своих знаменитых парадоксов: чем выше полководцы или государственные деятели на пирамиде власти, тем дальше они от ее основания, состоящего из обычных людей, чьи жизни и есть действительная материя исторического процесса; и тем, соответственно, меньше воздействуют на историю слова и поступки подобных персон, несмотря на всю их власть.

Описывая Наполеона на поле Бородинской битвы Толстой изо всех сил доказывает, что нам представляются кардинально важными (и привлекают внимание историков) только те решения и приказы, которые случайно совпали с дальнейшим ходом событий; тогда как великое множество других, ничуть не менее обдуманных решений и приказов, которые в ходе сражения казались ответственным за них лицам столь же кардинальными и жизненно важными, забыты потому, что неблагоприятное для них течение событий помешало их выполнить, и они кажутся теперь не имеющими исторической значимости.

Центральный тезис Толстого состоит в том, что существует некий закон природы, которому подчиняется все сущее, не исключая и человека; но люди не могут без страха взглянуть в лицо этому неумолимому процессу и пытаются представить его как последовательность актов свободного выбора, чтобы возложить ответственность на тех, кого сами же и наделяют героическими доблестями или пороками и называют «великими людьми».

Мы никогда не откроем всех действующих в нашем мире причинно-следственных связей. Причин очень много, а сами они бесконечно маты; историки выбирают из них ничтожно малое число и приписывают все на свете действию этого произвольно выбранного крохотного набора. Потому Толстой и нападает на все виды оптимистического рационализма, на естественные науки, либеральные теории прогресса, немецких военных теоретиков, французскую социологию и самоуверенные проекты социального переустройства (см., например, Джеймс Скотт. [Благими намерениями государства](http://baguzin.ru/wp/?p=3995). Почему и как проваливались проекты улучшения человеческой жизни).

Толстой (будучи лисом) воспринимал реальность во всей ее множественности, как собрание раздельных сущностей, которое он обозревал и в которое проницал с беспримерной остротой и ясностью видения, но верил он только в одно огромное, универсальное целое.

Толстой был уверен в том, что всякое знание можно обрести только через добросовестное наблюдение; что знание это всегда неадекватно, что простые люди нередко ближе к истине, чем люди образованные, но не потому, что они — вдохновенные проводники божественного озарения, а просто потому, что их взгляд на человека и природу не замутнен пустыми теориями (современный философ Карл Поппер, наоборот, считает, что основные знания человек получает из теорий, а не опыта, см. [Знание и психофизическая проблема](http://baguzin.ru/wp/?p=13454)).

Чем больше мы знаем, говорит Толстой, о данном человеческом деянии, тем более неизбежным, тем более детерминированным оно нам представляется. Почему? Потому что чем больше мы узнаем обо всех связанных с ним условиях и предпосылках, тем труднее нам представить себе такие обстоятельства, такое сочетание факторов, в котором эти условия и предпосылки не играли бы никакой роли. Мир — это система и структура. Полагая людей «свободными», мы приписываем им способность действовать в некоей точке прошлого иначе, нежели они действовали на самом деле; тогда мы должны просчитать последствия невоплотившихся возможностей и того, как изменился бы мир по сравнению с нынешним, наличным миром.

**Толстой и просвещение (1961)**

Что же касается позитивных идей Толстого, кое-что роднит их с французским Просвещением XVIII века; кое-что — с идеями века ХХ; доминирующим идеям собственной эпохи он практически совершенно чужд. Он не принадлежал ни к одному из тех великих идеологических течений, на которые в годы его юности разделилось общественное мнение России. Он не был ни радикальным интеллектуалом откровенно прозападной ориентации, ни славянофилом, то есть сторонником христианско- националистической монархии. Неоднократно подмечено, что ближе всего ему был Руссо.

Толстому казалось, что положение народа нисколько не улучшится, покуда не только царских чиновников, но и «прогрессистов», как называл Толстой самодовольную и доктринерскую интеллигенцию, не «попросят с народной шеи», имея в виду под народом простой народ, включая детей.

К парламентской демократии, к правам женщин, ко всеобщему избирательному праву Толстой относился негативно. Он в полной мере разделял присущую славянофилам подозрительность к научным и теоретическим обобщениям. Подобно мыслителям Просвещения, он искал ключевые ценности не в истории, не в священной миссии наций, культур или церквей, но в личном человеческом опыте. Подобно им, он верил в вечные (а не развивающиеся исторически) истины и ценности. Толстой отвергал теологию, историю и преподавание мертвых языков — весь классический курс — как сумму фактов и правил, которых ни один здравомыслящий человек учить не станет.

Не удовлетворившись модными в то время в России образовательными доктринами, решил отправиться за границу, чтобы изучить западные методы и в теории, и на практике. Во Франции он обнаружил, что обучают там совершенно механически, методом зубрежки. Но подлинной родиной всяческих бессмысленных теорий была Германия. Разгневанный и возмущенный, он вернулся в свое российское имение и начал сам обучать деревенских детей.

Толстой всю свою жизнь отстаивал представление, которому, правда, не нашлось места в его собственных романах и набросках, о том, что люди гармоничней в детстве, чем в дальнейшей жизни под несчастливым знаком растлевающего душу образования; а также о том, что простой народ (крестьяне, казаки и так далее) «естественнее» и правильнее относится к этим ценностям, чем цивилизованные люди, и что он свободен и независим в том смысле, в каком цивилизованные несвободны.

Простой народ, доказывает Толстой в ранних педагогических работах, сам обеспечивает себя не только материально, но и духовно — народные песни, «Илиада», Библия выходят из самой народной толщи и потому понятны всем и везде, а «Silentium» Тютчева, или «Дон Жуан», или Девятая симфония — непонятны. Если идеал человека существует, его следует искать не в будущем, а в прошлом. Когда-то, как сказано в Библии и у Руссо, был Эдемский сад и в нем жили неразвращенные люди; потом пришли грехопадение, порча, страдание, неправда. Только слепой может верить, как верят либералы или социалисты, то есть сторонники прогресса, что золотой век все еще впереди, что история — это история совершенствования, что материальный прогресс в естественных науках и материальных навыках совпадает с нравственным продвижением. На самом деле все наоборот.

Именно отсюда проистекает знаменитый толстовский антииндивидуализм, в особенности мысль о том, что индивидуальная воля — источник заблуждений и искажений «естественных» человеческих наклонностей (любопытно сравнить с философией индивидуализма, см., например, [Айн Рэнд. Атлант расправил плечи](http://baguzin.ru/wp/?p=483)). Отсюда же и обратная сторона этой мысли — толстовское непротивление. Он верит в возможность интуитивно постичь, что все не просто неизбежно, но объективно, промыслительно идет ко благу, и этому надо подчиняться.

**Русское народничество (1960)**

«Народничество» — термин, означающий не какую-то конкретную политическую партию или связанное с ней учение, но широкое радикальное движение в России середины XIX века. Оно зародилось в эпоху великих социальных перемен и брожения умов, последовавшую за смертью царя Николая I и унизительным поражением в Крымской войне 1856—1857 годов, приобретало все большее влияние в течение двух последующих десятилетий и достигло своего пика с убийством царя Александра II, после чего быстро пришло в упадок. Вождями его были люди разного происхождения, взглядов и способностей; ни на каком из этапов оно не выходило за рамки разрозненных групп заговорщиков. Они разделяли демократические идеалы современных им европейских радикальных идеологов, а также верили в то, что борьба социально-экономических классов определяет все в политике. Теорию эту они исповедовали не в форме марксизма (который широко распространился в России не раньше 1870-х), а в той, которой учили Прудон и Герцен, до них же — Сен-Симон, Фурье и другие французские социалисты и радикалы, чьи труды, легально или нелегально, тонкой, но непрерывной струйкой десятилетиями вливались в Россию.

Под угнетенными массами подразумевали в основном крестьян, составлявших 90% населения страны. Народники смотрели на них как на мучеников, чьи страдания они призваны отомстить, исправив причиненное им зло; как на воплощение простых, незапятнанных добродетелей. Крестьяне эти (сильно идеализированные) должны составить естественный фундамент для будущего устройства российского общества.

Они верили в способность науки облегчить человеческую жизнь, не нарушая при этом «естественную» жизнь крестьянской деревни и не создавая огромного, нищего, безликого городского пролетариата.

Что делать, если крестьяне станут сопротивляться планам их революционного освобождения? Нужно ли обманывать массы или, хуже того, принуждать? Ткачев, Нечаев и Писарев доказывали, что образованные люди не могут слушаться безграмотных и невежественных; народ можно освободить, даже вопреки его неразумным желаниям, хитростью, любыми подходящими средствами, обманом и насилием, если надо. Такие представления и авторитаризм, который они влекли за собой, разделяло лишь меньшинство народников. Большинство же приводила в ужас открытая защита макиавеллиевской тактики; они считали, что любую цель, даже хорошую, обесценят чудовищные средства.

Самая крупная фигура в народническом движении — Николай Гаврилович Чернышевский. Он был человеком нерушимой цельности, огромного трудолюбия и редкой среди русских способности сосредоточиваться на конкретных деталях. Его глубокая, твердая, вечная ненависть к рабству, несправедливости и неразумию не выразилась в больших теоретических обобщениях, создании социологической или метафизической системы или насильственных действиях против властей. Она приняла форму неторопливого, спокойного, терпеливого собирания идей и фактов. Его попытки найти специфическое решение специфических проблем с точки зрения конкретных статистических данных, его постоянное обращение к фактам, его терпеливые усилия наметить достижимые, практические, непосредственные цели, а не те, к которым нет реального пути, его плоский, сухой, прозаический стиль, его монотонность и недостаток вдохновения были серьезнее и в конечном счете вдохновляли больше, чем благородные мечты романтических идеалистов 1840-х.

Чернышевский развивал простую форму исторического материализма, в соответствии с которой политические факторы определяются социальными, а не наоборот. Он считал, что либеральные и парламентаристские представления просто обходят главные вопросы — потребность крестьян и рабочих в пище, жилье и одежде; что же касается либеральной конституции, права голосовать и гарантий личной свободы — это мало что значит для голодных, полураздетых людей. Социальная революция должна идти первой; за ней последуют соответствующие политические реформы. Чернышевский считал, что историческое развитие России ни в каком отношении не уникально, а подчиняется тем же социальным и экономическим законам, что и все человеческое общество. Как марксисты, он верил, что такие законы можно открыть и установить; но, в отличие от марксистов, он был убежден, что, переняв западные технологии и воспитав людей железной воли и рационалистических взглядов, Россия может «проскочить» капиталистическую стадию развития, превратив крестьянские общины и свободные кооперации ремесленников в сельскохозяйственные и промышленные ассоциации производителей, которые станут зародышем нового, социалистического общества.

Франко Вентури приводит статистику народников: пропорция крестьян и помещиков составляла 341:1, земля, которой владели крестьяне и их хозяева, находилась в отношении 1:112, а их доходы – 2,5:97,5; пропорция городских рабочих к крестьянам была 1:100.

Самые глубокие эмоции и стремления Чернышевского вылились в роман «Что делать?» — гротескную социальную утопию, сыгравшую поистине эпохальную роль в русском сознании. Этот дидактический роман описывал «новых людей» свободного, морально чистого, кооперативного социалистического общества; его трогательная искренность и нравственный пыл покоряли воображение идеалистичных, кающихся молодых людей из буржуазных семей и снабжали их идеальной моделью, в лучах которой выросло и окрепло целое поколение революционеров, готовых к открытому неповиновению существующим условностям и законам, к величественно равнодушному приятию ссылки и смерти.

**Молчание в русской культуре (1957)**

Обостренное самосознание — одна из самых поразительных особенностей современной русской культуры. Никогда еще ни одно культурное сообщество не было столь всецело поглощено самим собой, мыслями о собственной природе и своем особом предназначении. Для Достоевского, Толстого, Тургенева, Чехова «русский вопрос» оставался ключевым в течение всей жизни. Начиная с 1880-х годов Россию наводнил мощный поток книг, статей, памфлетов, посвященных в большинстве своем решению дилеммы: суждено ли России жить по своим собственным законам (тогда опыт других стран практически ничему не может ее научить), или, напротив, все беды России проистекают от обособленности и беспечности, от пренебрежительного отношения к тем универсальным законам, которые управляют всяким обществом.

Частично российская самопоглощенность национальными проблемами связана с тем чувством унижения за собственную культуру, которое побуждало образованные слои русского общества болезненно и нетерпеливо искать своей собственной достойной роли, соотносимой, помимо всего прочего, с возраставшей политической мощью России. Ситуация обострялась тем, что европейский мир склонен был свысока смотреть на русских, побуждая их и самим смотреть на себя свысока. Каковы бы ни были, однако, истоки этих умонастроений, подспудно они определялись уверенностью, что все проблемы взаимосвязаны и что должна существовать некая единая мировоззренческая система, в терминах которой эти проблемы можно описать и решить.

Русским людям самых разных убеждений западная философия представлялась искусственной, распадающейся на части и не выдерживающей критики в сравнении с глубиной того всеобъемлющего взгляда, согласно которому индивидуальная и социальная сферы жизни мыслились неотделимыми друг от друга и все составные части личности рассматривались в единстве — как элементы, находящиеся в постоянном взаимодействии. При оценке художника казалось невозможным отделить его творческую ипостась от гражданской. Научная честность математика автоматически ставилась под сомнение, если он изменял жене. Последовательное разграничение общественной и частной жизни не допускалось.

Сама идея самоценности человека или какой-то сферы его жизни казалась не чем иным, как попыткой ограничить, сузить, скрыть, изгнать истину, уклонившись от всемирного закона, потакая слабостям и порокам. Вера в существование одной-единственной истинной цели, служению которой нужно подчинить всю свою жизнь, одного-единственного метода, позволяющего эту цель обнаружить, и лишь избранного круга людей, способных открыть и объяснить истину, — это древнее и хорошо известное убеждение может принимать разные формы. Но и в самом идеальном варианте оно, в сущности, тоталитарно. Даже его либеральные версии, допускающие некоторые сомнения относительно природы истины, метода ее обнаружения, статуса ее жрецов, не отменяют однажды установленной обязанности всех и каждого этой истине подчиняться. Плюрализм и независимость не признаются ценностями. Неудивительно, что семена марксистской идеологии, проникшей в Россию в 1870–1880-е годы, пали здесь на почти идеальную почву.

Опираясь на «научно обоснованную» модель истории, марксизм претендовал на открытие истинной цели жизни. Проповедуемые им нравственные и политические ценности преподносились как объективные. Неотъемлемой частью этой утопии стало умение игнорировать уже очевидную к началу ХХ века неспособность марксизма объяснить и предсказать социальные и экономические изменения.

То, что стало с Россией при Сталине, по-видимому, объясняется его личными качествами. Полуграмотный представитель угнетенного национального меньшинства, познавший чувство унижения, исполненный ненависти ко всем, кто был умнее его, Сталин особенно ненавидел тех товарищей по партии, которые были наделены ораторским даром и любили теоретические дискуссии. Их искушенность в диалектике всегда — и до, и после революции — вызывала у него чувство неполноценности. Троцкий был лишь самым высокомерным и блестящим представителем этого человеческого типа. Отношение Сталина к миру идей, к интеллектуалам и к интеллектуальной свободе представляло собой смесь страха, циничного пренебрежения и садистского юмора.

**Генералиссимус Сталин и искусство властвовать (1952)**

Существуют две опасности, угрожающие любому режиму, установленному в результате революции. Первая опасность состоит в том, что процесс может зайти слишком далеко, то есть что революционеры в пылу борьбы уничтожат слишком многое, и в особенности тех индивидуумов, от таланта которых в конечном счете зависит успех самой революции и удержание ее достижений. Вторая опасность — прямо противоположного свойства и часто является прямым следствием первой. Когда исчерпан изначальный революционный импульс, энтузиазм ослабевает, сил становится меньше, мотивы становятся менее сильными и менее чистыми, появляется отвращение к героизму, мученичеству, уничтожению жизни и собственности, старые привычки возвращаются на свои места, и то, что начиналось как смелый и блестящий эксперимент, разваливается на части и погибает под грузом коррупции и междоусобных дрязг.

Стало быть, избежать этих противоположных опасностей — то есть проплыть между Сциллой самоуничтожающего якобинского фанатизма и Харибдой постреволюционной апатии и цинизма — главная задача любого революционного лидера. Сталин использовал для этого оригинальное средство – искусственную диалектику. В 1941 году, когда судьба советской системы висела на волоске, была дана полная свобода развитию патриотических чувств. Власти как бы открыли предохранительный клапан, через который вырвались наружу подавляемые в течение двух предыдущих десятилетий чаяния. Лидеры партии ясно понимали, что этот национальный подъем есть наиболее сильный и, более того, единственный психологический фактор, способный стимулировать сопротивление врагу.

Но потом русские солдаты, вернувшиеся с победой из других стран и наполненные добрыми чувствами по отношению к иностранным обычаям и свободам (как это часто случалось после европейских кампаний), снова стали давать власти поводы для беспокойства, ведь, в конце концов, восстание декабристов в 1825 году произошло при сходных обстоятельствах. И в конце 1945 года раздался призыв к порядку. Политика поощрения национализма была внезапно отставлена. Всем напомнили об их марксистском долге. Создание местной истории было объявлено вне закона. Над страной снова простерла совиные крыла ортодоксальная марксистская идеология. Партии было приказано обличить и изгнать из своих рядов оппортунистов и прочую сволочь, которая прокралась в нее в смутное время войны. Охота на ведьм началась заново (хотя и не в ужасающих масштабах 1937–1938 годов).

**Литература и искусство в России при Сталине (1945)**

По ряду причин Россия всю свою историю жила достаточно изолированно от остального мира и никогда по-настоящему не входила в западную традицию; и ее литература во все времена свидетельствовала о своеобразной двойственности отношения к непростой связи между нею самою и Западом – то о страстном неудовлетворенном стремлении войти в европейскую жизнь, стать ее частью, то об обиженном («скифском») презрении к западным ценностям. Октябрьская революция еще больше изолировала Россию. Думаю, было бы удобно и не слишком ошибочно разделить недавнее прошлое на три основных этапа — а) 1900—1928; б) 1928—1937; в) 1937 – до настоящего времени; деление искусственное и приблизительное, хотя легко показать, что оно существует.

Новая ортодоксия, окончательно утвердившаяся после падения Троцкого в 1928 году, решительно положила конец инкубационному периоду, в течение которого лучшие советские поэты, романисты и драматурги, да и композиторы и кинорежиссеры, создали свои самые оригинальные, памятные всем произведения. До 1928 года мысль была в бурлении, все было неподдельно оживлено духом бунтарства, вызова западному искусству. Глашатаем и главной вдохновляющей силой этого нового якобинства был поэт Маяковский, который со своими сторонниками создал знаменитый ЛЕФ (левый фронт искусства). Это была эпоха Пастернака, Ахматовой (до 1923 года, когда она умолкла), Сельвинского, Асеева, Багрицкого, Мандельштама; таких писателей, как Алексей Толстой (вернувшийся в 20-е годы из Парижа), Пришвин, Катаев, Зощенко, Пильняк, Бабель, Ильф и Петров; драматурга Булгакова.

В 1937 году большевистский режим ужесточил старые методы, установив несколько этапов контроля; первым был Союз писателей, затем — назначаемый государством комиссар и, наконец, Центральный комитет Коммунистической партии. Литературный «курс» утверждала партия: сначала был введен пресловутый Пролеткульт, с его требованием советской тематики и коллективной работы пролетарских писателей; затем — поклонение советским или досоветским героям.

Горький умер в 1936 году. Пока он был жив, его огромное личное влияние и авторитет до определенной степени защищали кого-то из крупных и интересных писателей от чрезмерного давления и травли со стороны режима; он сознательно играл роль «совести русского народа» и продолжал традицию Луначарского (а также Троцкого), защищая подающих надежды людей искусства от мертвящей руки официальной бюрократии. Началась охота на ведьм; разоблачения ереси, как правой, так и левой, следовали одно за другим; последствия для побежденных еретиков были ужасающими.

В 1937 г. произошел великий разгром, который для каждого советского писателя и художника стал чем-то вроде Варфоломеевской ночи. Правительство, очевидно не чувствуя себя слишком устойчивым, нанесло удар по всем предположительно «сомнительным» элементам, а кроме того и по бессчетному количеству невинных и лояльных людей, с жестокостью и основательностью. Великие чистки и судебные процессы 1937 и 1938 годов изменили литературную и художественную арену до полной неузнаваемости. Тогда, особенно за время ежовского террора, было сослано или уничтожено столько писателей и художников, что русскую литературу и мысль в 1939 году можно сравнить с местностью, по которой прошла война (Ежовский террор, наиболее неистовая фаза чисток, указывает на произвольные репрессии, организованные Николаем Ивановичем Ежовым, главой НКВД в 1936–1938 годах).

Со смертью Горького интеллектуалы лишились своего единственного сильного защитника; оборвалась последняя связь с прежней традицией относительной свободы революционного искусства. Самые известные из уцелевших писателей этого периода сегодня сидят смирно, в постоянном волнении из-за страха совершить какой-нибудь роковой грех против линии партии, которая никак не была ясной ни в критические годы перед войной, ни после нее.

Бывает, что обозреватели, рецензируя книгу, спектакль или другое «явление культуры», допускают ошибку, то есть отклоняются от генеральной линии партии; тогда исправление состоит не просто в том, что данному конкретному критику разъясняют, какие выводы можно сделать из его ошибочных суждений; выходит что-то вроде «контрстатьи», указывающей на его ошибки и разъясняющей официальную «линию» относительно критикуемого произведения. В некоторых случаях принимаются и более сильные меры. Последним главой Союза был старомодный и не особенно деятельный поэт Николай Тихонов. Он был устранен за то, что допускал издание так называемой «чистой» литературы; его сменил политически ревностный Фадеев.

**Встречи с русскими писателями в 1945 и 1956 (1980)**

Летом 1945 года я был временным сотрудником британского посольства в Вашингтоне. В один прекрасный день мне сообщили, что на несколько месяцев меня переводят в распоряжение нашего посольства в Москве.

Жесткая цензура, которая, наряду с массой всего остального, запрещала порнографию, макулатуру и низкопробные детективы того пошиба, что заполняют вокзальные прилавки на Западе, способствовала тому, что восприятие советских читателей и зрителей стало чище, непосредственнее и наивнее, чем наше.

Чуковский был выдающимся, очень известным писателем, составившим себе имя еще до революции. Он был левым и приветствовал революцию. Как все сколько-нибудь независимо мыслящие интеллигенты, он вынес свою долю гонений со стороны советской власти. Существует целый ряд способов не сойти с ума в условиях деспотизма. Он достиг этого своего рода ироническим отстранением от общественной жизни, осторожным поведением и незаурядным стоицизмом. Решение ограничить себя относительно тихой заводью русской и английской литературы XIX века, детскими стихами и переводами, быть может, спасло его и его родных от страшной судьбы, постигнувшей некоторых самых близких его друзей.

Пастернак любил все русское и был готов простить своей стране все ее недостатки — все, за исключением варварства сталинского периода. Но даже это казалось ему в 1945 году тьмой, предвещавшей наступление рассвета; и он изо всей силы напрягал свой взор, стремясь различить его лучи. Эта надежда нашла свое выражение в последних главах «Доктора Живаго».

После первой встречи в 1945 г. я не видел Пастернака 11 лет. В 1956 году его отчуждение от политического режима, господствовавшего в его стране, было полным и бескомпромиссным. Он не мог без содрогания говорить о режиме или его представителях. К тому времени его друг Ольга Ивинская, по его словам, уже подверглась аресту, допросам, издевательствам и мучениям. Целых пять лет она уже провела в лагере. Министр государственной безопасности Абакумов сказал ей во время допроса: «А твой Борис, наверное, презирает и ненавидит нас?» — «Они были правы, — сказал мне Пастернак. — Она и не отрицала этого».

Ахматова жила в ужасное время и вела себя, по словам Надежды Мандельштам, героически. Все имеющиеся свидетельства говорят об этом. Ни публично, ни частным образом — передо мною, например, — она ни разу не высказалась против советского режима; однако вся ее жизнь может служить примером того, что Герцен сказал однажды почти обо всей русской литературе, — одним непрерывным обвинительным актом против русской действительности. Насколько мне известно, повсеместный культ ее памяти как поэта и как человека, которого не смогли сломить никакие испытания, не знает себе равных в Советском Союзе сегодня. Ее жизнь стала легендой. Ее несгибаемое пассивное сопротивление тому, что она считала недостойным себя и страны (как в свое время предсказал Белинский по поводу Герцена), определило ее место не только в истории русской литературы, но и в русской истории нашего века.

**Советская интеллигенция**

Нынешние условия в Советском Союзе чрезвычайно напоминают те, что существуют в организациях с четко определенной структурой ответственности — в армиях, в школах с суровой дисциплиной и тому подобных жестких иерархических системах, где разница между теми, кто правит, и теми, кто подчиняется, кардинальна. По существу, пропасть между правителями и подчиненными — единственное глубокое разделение, которое можно заметить в советском обществе, и, едва начав разговор с советским гражданином, нетрудно понять, к какой из этих двух групп он принадлежит.

В молодежи скорее поощряется интерес к научным и техническим знаниям, чем к гуманитарным, и чем ближе к политике, тем слабее образование. Хуже всего поставлено оно у экономистов, историков современности, философов и юристов.

Ситуация в философии особенно безрадостна. Диалектический материализм обычно читают по учебнику, не изменившемуся за последние двадцать лет, с тех самых пор, как философские дискуссии вообще запретили, включая диспуты внутри собственно диалектического материализма. С тех пор преподавание его превратилось в механическое повторение текстов, значение которых постепенно полностью улетучилось, ибо они, как святыня, не подлежат ни обсуждению, ни, тем более, какому-либо применению — помимо ритуально-обрядового — к другим дисциплинам, скажем к экономике или к истории. И специалисты по этой официальной метафизике, и их слушатели, кажется, одинаково сознают ее полную никчемность.

Что касается правителей, это другое дело. По природе своей жестокие и честолюбивые, они, по-видимому, считают, что коммунистический жаргон и определенный минимум коммунистической доктрины — единственный цемент, который способен скрепить составные части Советского Союза, а слишком большие перемены подвергли бы опасности стабильность системы и сделали бы чрезвычайно ненадежной их собственную позицию.

1. В скобках указа год первой публикации статьи на английском языке. [↑](#footnote-ref-1)
2. Сначала российские мыслители заимствовали западные идеи, развивали их, а затем эти идеи оказали обратное влияние на Запад. [↑](#footnote-ref-2)
3. По-видимому, США не поняли этого до сих пор. Пытаясь импортировать демократию, они посеяли хаос в Афганистане, Ливии, Ираке… [↑](#footnote-ref-3)